

### § 3. Лингвистический анализ в философии позднего Витгенштейна

О соотношении взглядов «раннего» и «позднего» Витгенштейна написано много. В ходе тщательного, почти детективного расследования одни критики приходят к мнению, что «поздний» Витгенштейн полностью порвал с «ранней» философией «Логико-философского трактата»; другие, наоборот, считают, что Витгенштейн — один и тот же философ, сменивший две концепции. Чтобы раз и навсегда оставить этот вопрос, отметим, что мы считаем справедливой вторую точку зрения. Витгенштейна всегда волновали логические проблемы, связанные с языком; только если «ранний» Витгенштейн занимался *логическим* языком, то в «поздней» философии предметом стал *обыденный* язык. Несмотря на переоценку ценностей, аналитический метод как универсальный метод «описания» Витгенштейн понимает одинаково как в «ранней», так и в «поздней» философии. Если ранний Витгенштейн ищет «логику языка», то поздний Витгенштейн ищет «логику в языке».

Если судить по письмам самого Витгенштейна, он не полностью порывает с методологической частью своей «ранней» философии. Обоснование реализма, критериев верификации и достоверности остаются главными задачами и в «поздней» философии. Витгенштейн считает, что, придя к новой философской позиции, он только углубил свои доказательства, решив противоречия «Трактата». В этой связи интересно мнение немецкого философа К.-О. Апеля: «Тем не менее различие в подходе в сравнении с “Трактатом” не является столь значительным, как можно было бы сперва предположить. *Метод мышления* Витгенштейна остается методом *аналитической философии языка*»<sup>1</sup>. Таким образом, можно говорить только о смене предмета и методики философского анализа, но не о коренной переоценке всей методологии. Неслучайно некоторые «радикальные» последователи Витгенштейна в лице Г. Райла и Дж. Уиздома упрекали его за то, что он так и не избавился от своего «логического» прошлого.

В «поздней», как и в «ранней», философии Витгенштейн занимает позицию реализма. В «Философских исследовани-

---

<sup>1</sup> Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 143.

ях», как и в «Трактате», он полагает, что логика, несмотря на наличие законов, качественно отличных от законов природы, зависит от фактов. Логика и язык оперируют с высказываниями о ментальных и физических событиях, в большинстве своем независимых от сознания. Неслучайно Витгенштейн столь внимательно относится к основной неореалистической проблеме — проблеме *доказательства* существования внешнего мира. «Коли ты знаешь, что вот это рука, то это потянет за собой и все прочее»<sup>1</sup>, — полагает Витгенштейн. Он пытается доказать, что вера Мура, когда он показывал на лекции свою левую руку и говорил: «Вот неизбежное доказательство существования предметов вне нашего сознания», — не просто вера и непосредственное убеждение. Опираясь с этой проблемой, Витгенштейн не ставит под сомнение существование левой руки вне сознания; он пытается установить процедуру приписывания предиката «достоверное» этому положению. Вопрос Витгенштейна по поводу главного положения реализма выглядит так: каким образом мы приписываем предикат «достоверное» предложениям типа «Существует моя левая рука»?

Витгенштейн приходит к выводу, что можно дать только *описательный* ответ на этот вопрос. Можно только описать, каким образом мы пришли к убеждению в существовании руки, а не *объяснить* это. «В какой-то мере необходимо перейти от объяснения к простому описанию»<sup>2</sup>, — считает он. Например, истинно ли, что Наполеон был императором Франции? Да. Но почему? Потому что это можно *узнать*, полагает Витгенштейн, а узнав, прийти к этому мнению. Необходимо точно описать, каким образом мы приходим к знанию. Как отметил еще Платон, человеческий разум не в состоянии познать все, но мы тем не менее знаем, что дверь, которую можно отворять, закреплена на петлях. Витгенштейн не претендует доказать, что существует достаточное основание для признания истинности этого знания; важно то, что «*моя жизнь держится на том, что я многое принимаю произвольно*»<sup>3</sup>. Я знаю *это* и могу ответить, откуда я это знаю, но на вопрос о природе знания самого по себе мы ответить не можем. Сократ говорил: «Я знаю,

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 1 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>2</sup> Там же. § 189.

<sup>3</sup> Там же. § 344.

что ничего не знаю». Перефразируя его, Витгенштейн говорит: «Я знаю, потому что я это знаю». Здесь теория бессмысленна; речь идет скорее о практическом, «непроизвольном» знании. Поэтому Витгенштейн пишет: «Но если я говорю: “У меня две руки”, — на что я могу сослаться, чтобы засвидетельствовать достоверность этого? Самое большее — указать на обычность обстоятельств»<sup>1</sup>. Это ни в коем случае не ведет к отождествлению «непосредственного» и случайного. «Непосредственное» знание закономерно, и оно коренится в более простом по отношению к логическому рассудку порядке *обыденного языка*. Истины типа «У меня есть две руки» или «Дверь открывается на петлях» усваиваются в процессе овладения языком. Им нельзя дать формально-логического обоснования, так как на языке логики мы будем говорить о восприятии физического объекта и анализировать высказывания о нем. По Витгенштейну, до того, как заниматься логическим анализом, мы *уже должны что-то знать*. Логический анализ не может начаться с аксиом; он стартует, когда уже существует мировоззрение, представленное в обыденном языке. Витгенштейн тем самым доказывает, что существует обыденный язык, «более примитивный», чем язык логики. Можно сказать, что человек будет прекрасно знать о существовании двух рук, даже если он не владеет языком логики. Но он вряд ли будет знать это, по крайней мере не сможет это высказать, если он не будет владеть обыденным языком.

Философы логического анализа считают, что обыденный язык может быть сведен к языку логики как к его сущностной основе. Они также полагают, что обыденный язык не подходит для науки, а подходит только для повседневного общения. Они также утверждают и то, что в идеальном языке логики или специальном языке науки все слова обладают *значением*, т. е. описывают факты строго определенным способом. Все эти положения поздний Витгенштейн отвергает. Для него описание обыденного языка и есть описание повседневного словоупотребления. Отвергая все попытки формализации, Витгенштейн полагает, что создание идеального языка убьет «исконный» обыденный язык. Например, Витгенштейн не принял модный в то время эсперанто. Он пишет: «Эсперанто. Чувство отвращения, когда мы признаем изобретенные слова с изобретенными

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 445.

же флексиями. Слово холодное, лишённое ассоциаций, и тем не менее оно прикидывается языком. Будь это система письменных знаков, она не вызвала бы такого отвращения»<sup>1</sup>. Это утверждение, хотя и в более умеренной форме, Витгенштейн распространяет на искусственные языки, например метаязык Карнапа. Неслучайно в этом смысле Рассел был одним из самых последовательных противников позднего Витгенштейна. Он признавал, что обыденный язык необходим, а в случае поэзии, например, и незаменим, но видел в нем форму выражения «донаучного» мышления. Для Рассела невозможно «простое описание», невозможен язык без фактов. Витгенштейн же полагает, что мы видим мир и интерпретируем факты *сквозь призму языка*, что язык учит нас видеть вещи определенным способом, который усваивается и затем «непроизвольно» употребляется в различных ситуациях. Когда Витгенштейн спорил с Муром о том, что такое дерево в саду Кембриджского университета, они пришли к диаметрально противоположным выводам. Назовем эти выводы.

Мур: Я вижу объект, который совершенно точно существует вне меня. На моем языке его следует назвать «дерево». Его можно было бы назвать и по-другому. От этого ведь дерево не перестало бы быть тем же самым объектом.

Витгенштейн: Прежде всего, я вижу дерево, т. е. этот объект воспринимается мною как нечто, что я научился называть словом «дерево». Если я скажу про дерево: «Это футбольный мяч», меня не поймут. И причина тут не в том, что объект под названием «дерево» не похож на объект под названием «футбольный мяч». Дело в том, что в нашем языке слово «дерево» употребляется для обозначения одного объекта, а слова «футбольный мяч» — для другого объекта. Хотя не совсем понятно, имеем ли мы тут в виду объект.

Фотография героев этого знаменитого спора донесла до нас облик усталого, разочарованного Мура и нападающего, фанатично уверенного в своей правоте Витгенштейна. От чего же так «устал» Мур? Пожалуй, от желания Витгенштейна переоценить так называемые грамматические критерии и, как следствие, сами возможности языка. Все эти возможности, такие как синонимы, омонимы, антонимы, метафоры, эмфазы и т. д.,

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Культура и ценность. § 294 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

прекрасны и необходимы, но никак не в сфере строгого анализа. В рамках установления значения необходимо как можно точнее определить отношение «слово — объект», как способ оstenсии слова к объекту. По Муру, объективное значение слова «дерево», наличие деревьев самих по себе, является гораздо более значительным фактором, нежели возможность различных способов употребления самого слова. В этой точке спор, таким образом, доходит до предельной эпистемологической и онтологической заостренности, восходя к поставленному еще Платоном в «Кратиле» вопросу: отражает ли язык сущность всех вещей или это случайный набор звуков? Витгенштейн, на наш взгляд, решает платоновский вопрос идеалистически. Рассуждая об особых законах языка, выводя языковой плюрализм и элиминируя критерий соответствия, Витгенштейн саму реальность рассматривает только *сквозь призму языка*, только как материал, о котором можно высказаться. Да и есть ли тут реальность? Не устранена ли она Витгенштейном, не превращена ли в пустую фикцию, свойство частных языков? На наш взгляд, Витгенштейн не может на это ответить; и часть его величия, несомненно, в том, что он, в отличие от своих эпигонов, не смог с легкостью отказаться от принципа реализма.

Итак, необходимо конкретизировать проблему: Витгенштейн не отказывается от поиска значения слова. Он спорит о дереве с Муром и отказывается от теории дескрипций Рассела и положений своего «Трактата», согласно которым значение слова есть точное описание факта. Значение слова для позднего Витгенштейна определяется диаметрально противоположно — как *способ употребления слова в языке*. Он пишет: «Предложение обретает свой смысл только в употреблении»<sup>1</sup>. Именно таким образом слово существует в языке. При этом Витгенштейн спешит защититься от возможных обвинений в «психологизме», ведущем к субъективному идеализму. Значение слова для Витгенштейна не является результатом «переживания», оно устанавливается объективно. Например, употребляя слово «свеча», мы связываем его с такими-то и такими-то объектами. Но это именно *установленная объективность*, т. е. способ видения мира, когда объект рассматривается *сквозь призму слова*. Меняются люди, эпохи — и одни слова исчезают из языка, вхо-

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 10 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

дят новые, старые меняют свои значения. Этого нет в «мертворожденном» эсперанто. Даже философский словарь, мало подверженный влиянию времени, не избегает подобной участи. Историки философии, например, выявляют различные употребления слова «метафизика» у Аристотеля, Гегеля и Хайдеггера. Так, по Витгенштейну, язык «живет». Таким образом, Витгенштейн полагает ошибочной теорию соответствия, лежащую в основе логического анализа языка. «Ошибка, которую мы совершаем, может быть выражена так: мы ищем употребления знака, но мы ищем его, как если бы оно было объектом, *существующим* со знаком»<sup>1</sup>, — считает он. Он не утверждает, что слово не связано с объектом; он доказывает, что многие слова в языке не имеют строгого значения и *не могут иметь его*, если под значением понимать «отнесенность к объекту *определенным* образом».

Парадоксы, которые во множестве отметил Витгенштейн, сводятся к обоснованию следующего тезиса: показать, что существуют различные способы употребления одной и той же языковой единицы. Наиболее знаменитый пример, приводимый Витгенштейном, — это «уткозаяц». В «Философских исследованиях» Витгенштейн заимствует у психолога Ястрова фигуру, которая воспринимается как голова утки, но, если положить картинку набок, оказывается головой зайца. При этом возможны три ситуации: 1) Человек видит только утку (так как не догадывается посмотреть иначе); 2) Человек видит только зайца (так как в Тарабарском царстве люди сначала кладут картинку набок, а затем разглядывают); 3) Человек видит и утку, и зайца, так как умеет смотреть *иначе*. Нечто подобное можно увидеть и в известной сказке А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Когда Маленький принц просил автора нарисовать барашка, автор нарисовал ему двух барашков, но они не удовлетворили ребенка. Тогда он нарисовал ящик и сказал: «Вот там твой барашек». Именно этот барашек, которого *увидел* в ящике Маленький принц, привел его в восторг.

На наш взгляд, Витгенштейн переоценивает роль лингвистического воображения. В отличие от Витгенштейна, Мур не будет рассматривать картинку сбоку или анфас, а будет исходить из *реальной формы и контура фигуры*. В этом случае как способ рассмотрения этой фигуры, так и название этой фигуры

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999. С. 14.

оказываются вторичными, что можно отразить в следующей таблице:

	<i>Взгляд прямо</i>	<i>Взгляд сбоку</i>
<i>Мур</i>	«уткозаяц»	«уткозаяц»
<i>Витгенштейн</i>	утка	заяц

Слово «уткозаяц» применительно к Муру заключено в кавычки, поскольку для него совершенно неважно, как назвать эту фигуру (хоть «динозавр»). Тем самым пример Витгенштейна годится только для психологического уровня восприятия. На абстрактном, логическом уровне проблема исчезает, как бы Витгенштейн ни убеждал в этом. Так, и для математика куб — это соответствующая объемная фигура, а не что-либо «каменное», «гранитное» и т. д.

Согласно Витгенштейну, употреблению слов и языка в целом человек обучается практическим путем; он учится не только отдельным словам и выражениям, но и «контексту», т. е. совокупности слов и выражений: «Начиная *верить* чему-то, мы верим не единичному предложению, а целой системе предложений»<sup>1</sup>. Важно не только то, что люди говорят, но и то, *как* они это говорят, т. е. языковое поведение. Например, ребенок ушибся и кричит. Взрослые, утешая его, учат соответствующим восклицаниям и предложениям по этому поводу; они учат его «болевому поведению». Неслучайно Витгенштейн много размышлял по поводу проблем, поставленных в бихевиоризме (хотя в целом был враждебен по отношению к этому учению). Например, если мы слышим крики и жалобы ребенка, то было бы нелепо анализировать эту ситуацию в терминах ментальных или физических состояний, или достать толстую энциклопедию, читая (воображаемую) статью «Крик». В этом случае, по Витгенштейну, *логично* сказать: «Ребенок кричит от боли» и затем анализировать оправданность этого предположения. Ведь научив ребенка болевому поведению, взрослые неизбежно учат его симулировать боль, т. е. не связывать «болевое поведение» с реальной болью.

<sup>1</sup> *Витгенштейн Л.* О достоверности. § 141 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

По Витгенштейну, человек, *владеющий* таким языком, может представить и понять, каким образом человек что-то знает. Для этого и существуют процедуры обучения, разъяснения, информирования и т. п. Этот вид знания Витгенштейн называет «знанием-как», противопоставляя его «знанию-что». Например, образованные люди XIV в. полагали, что система Птолемея истинна, и знали, *как* ее можно обосновать. Витгенштейн предлагает пересмотреть сциентистскую точку зрения, согласно которой вера людей XIV в. должна быть отброшена. Он предлагает взглянуть на систему Птолемея как на теорию, которая может быть не менее *убедительна*, чем другие теории. Например, если бы кто-то в XIV в. предвосхитил открытие Коперника, то он не знал бы, *как* обосновать эту теорию, чтобы ее могли понять. Когда моряки Тасмана увидели в Австралии черных лебедей и рассказывали об этом, им никто не верил. Но им без труда поверили бы, когда они сказали: «Мы были так близко к преисподней, что даже лебеди, пролетая там, обугливаются и становятся черными». Согласно Витгенштейну, человек из опыта употребления языковых конвенций выносит безоговорочную веру в некоторые вещи и отношения и поступает в соответствии с ней. Но, оговаривается Витгенштейн: «Я хочу сказать не то, что человек *должен* поступать именно так, а только то, что он так поступает»<sup>1</sup>.

Витгенштейн вводит понятие «*указательное обучение*» как главный способ овладения языковой игрой. Мастер командует подмастерью: «Плита!», и подмастерье должен принести плиту. Если он принес рубанок, то он неправильно усвоил значение слова «плита». По Витгенштейну, при изменении способа указательного обучения и тренировки мы неизбежно приходим к иному пониманию слов. Эта ситуация присутствует в «Укрощении строптивой» Шекспира. Петруччо и Катарина едут днем в город. «Светит солнце ярко», — говорит Катарина. «Нет, луна!» — говорит взбалмошный Петруччо. «Да, луна. Как вам будет угодно», — отвечает «укрощенная» Катарина. По Витгенштейну, она выступает идеальной ученицей.

При этом нет необходимости *досконально* обучать употреблению того или иного слова. Мы понимаем слова в зависимости от практической необходимости, уровня владения языком и умственных способностей. Витгенштейн пишет: «Так, когда

---

<sup>1</sup> Там же. § 284.

мне говорят слово “куб”, я знаю, что оно означает. Но разве при этом, когда я *понимаю* слово, в моем сознании возникает ли его *употребление* во всем объеме?»<sup>1</sup> Витгенштейн хочет показать, что употребление слова не изучается путем соотнесения этого слова со всеми возможными фактами. Ребенок в этой связи употребляет слово «кубик», еще не зная, что куб — это геометрическая фигура, являющаяся параллелепипедом со всеми равными сторонами. Анализируя язык ребенка и язык математика, приходится признать, что они *по-разному* употребляют слово «куб». Точно так же блондинка из анекдотов, беря кубик льда, чтобы положить его в стакан с соком, с успехом забыла как о кубиках для игр, так и о параллелепипедах со всеми равными сторонами. Или, указывая на себя рукой, человек употребляет этот жест для обозначения своего «Я». Но можно ли отождествить «указание на себя пальцем» и «Я»? Скорее указание на себя пальцем выступает одним из языковых «инструментов» для обозначения Я в разговоре. Таким образом, делает вывод Витгенштейн, любое понимание и понятное поведение прямо зависят от того, понимаю ли Я и окружающие способ употребления слов и предложений этого языка.

Как уже отмечалось в начале главы, существует мнение, что Мур приходит к философии обыденного языка. Проведя детальное исследование философии Мура, мы доказали неадекватность этой точки зрения. Мур просто использовал фразы повседневного языка в качестве примеров для демонстрации процедуры анализа. Мур также полагал, что язык зависит от «здорового смысла». Сосредоточившись на решении эпистемологических вопросов, Мур отводил обыденному языку подсобную роль, никогда не делая его *самостоятельным* предметом философского анализа. Это раздражало Витгенштейна в ходе многочисленных диспутов с Муром. Витгенштейн считал, что Мур совершенно глух к пониманию подлинной природы языка. Тем не менее многие критики видят в Муре учителя Витгенштейна. По Н. Мальколму, Мур «будит чувство языка»; по А. Ф. Грязнову, существует «майевтика» Мура, выражающаяся в «лингвистическом анализе» предложений; по А. Ф. Бегиашвили, Мур понимал анализ как «перевод». Разоблачая это мифическое представление о Муре и об отношениях Мура и Витгенштейна,

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования. § 139 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

отметим, что Мур никогда не имел в виду под «языком» обыденный язык, а имел в виду язык логики и чувственных данных. В разгар безраздельного господства лингвистической философии в Англии, Айер, на наш взгляд, мужественно разоблачил «переописания» Витгенштейна и лингвистических философов: «Мур не задумывал философию как исследование языка [...] Тем не менее сведение философии к исследованию языка было бы рациональным следствием из позиции, которую он занимал»<sup>1</sup>. Вернувшись несколько ниже к дружбе-вражде Мура и Витгенштейна, мы попытаемся доказать справедливость суждения Айера.

Любой упорядоченный и осмысленный язык определяется Витгенштейном как *языковая игра*. Вводя термин «игра», Витгенштейн хотел закрепить практический характер языка как системы слов и выражений, которые непосредственно употребляются. Для возникновения языковой игры, несомненно, должны существовать некоторые трансцендентальные условия, которые и выводит Витгенштейн:

1) должны существовать люди, понимающие и употребляющие этот язык, т. е. возникает *языковое сообщество*;

2) язык должен быть понятным относительно *употребления* по возможности всех слов и выражений; эти слова и выражения подчиняются определенным *правилам*, которые должны соблюдаться всеми участниками игры;

3) должен существовать механизм *защиты от «нарушителей»* этих правил; в отношении нарушителя могут применяться санкции, вплоть до исключения из языкового сообщества. Например, Лютера и Толстого отлучили от церкви за вольные, не согласующиеся с «официальной» позицией, толкования положений христианства и запретили печатать их духовные тексты.

Эти положения тем не менее не регламентируют ни количество носителей языковой игры, ни порядок введения правил игры, ни способы защиты от желающих нарушить эти правила, ни продолжительность существования определенной языковой игры, ни, наконец, количество языковых игр. Совершенно ясно, что Витгенштейн допускает *бесконечное множество языковых игр*. В основании всех языковых игр лежит «предельная» языковая игра, которую не может воплотить в себе ни одна конкретная языковая игра — *обыденный язык*. Основание обыден-

---

<sup>1</sup> Ayer A. J. The Concept of a Person. London, 1963. P. 4.

ного языка не может лежать в другом языке; обыденный язык пребывает, как жизнь или благо. М. Хайдеггер неоднократно писал, что мы «пре-бываем» при языке; язык говорит. Витгенштейн, тоже считая язык главным человеческим продуктом, полагает, что говорим все же *мы*, т. е. правила языковой игры созданы человеком (даже если люди не осознают этого). Он пишет: «Языковая игра есть, так сказать, нечто непредсказуемое. Я имею в виду: она не обоснована. Она неразумна (или сверхразумна). Она пребывает — как наша жизнь»<sup>1</sup>. Философия не посягает на установление правил обыденного языка, оставляя все как есть; она только описывает, а не объясняет. «Все есть то, что есть», — сказал С. Батлер; «добро есть добро», — это слова Мура в «Principia Ethica». Язык таков, каков он есть, как язык, — так определяет суть своего «лингвистического реализма» Витгенштейн. Согласно Витгенштейну, могут устареть или быть преданными забвению любые конкретные языки, но это не затронет способности человека «говорить на языке» и видеть в нем форму своей жизни. Это надо видеть, зря в корень, поскольку на поверхности картина языка, по Витгенштейну, «представляет собой расплывчатую массу языка, его родной язык, окруженный дискретными или более или менее ясно выделенными языковыми играми и техническими языками»<sup>2</sup>.

Анализируя или просто употребляя различные языки, мы можем видеть не только их различия, но и сходства. Так, язык дачника может содержать слова и предложения, свойственные языку строителя или ботаника; язык социолога — термины языка метафизики и этнографии; язык человека, описывающего свой сон, — термины психоанализа и оккультизма. Используя спортивный термин, слово может быть «заиграно» за различные языки, точно так же, как футболист может поиграть в различных командах. Альтернативные системы языкового выражения, соприкасающиеся в определенных точках, Витгенштейн объясняет при помощи теории «*семейных сходств*». Он пишет: «Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их “семейными сходствами”, ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д.,

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 559 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999. С. 12.

и т. п. — И я скажу, что “игры” образуют семью»<sup>1</sup>. Например, мы имеем квадрат, разбитый на 9 клеток, окрашенных в четыре цвета: красный, черный, зеленый и белый. При этом квадрат можно обозначить кодом: ККЧЗЗЗКББ (заглавные буквы — начальные буквы упомянутых цветов). Является ли это «обозначением»? По Витгенштейну, это допустимое обозначение: «Можно сказать: именованной вещи еще *ничего* не сделано. Вне игры она не *имеет* имени. Это подразумевал Фреге, говоря: слово приобретает значение только в составе предложения»<sup>2</sup>. Вводя код этого квадрата в «игру», мы отличаем его от других возможных кодов (например, КЧЗЗБККБЗ и др.). Но между всеми возможными кодами существует сходство — все они «отпрыски» одного «предка». Как у членов одного рода, у них могут быть схожие черты: рост, черты лица, цвет глаз, характер; но при этом не может быть двух совершенно схожих игр. Задача лингвистического анализа, по Витгенштейну, — установить общий «язык-предок» и выявить связи с этим языком. Так, например, почти все языки философских школ имеют «семейное сходство» с языком философии Платона и его школы. Но можно спросить Витгенштейна: существует ли предок *всех* языков? На этот вопрос Витгенштейн нигде не дает прямого ответа, вероятно считая его «метафизическим», недоступным анализу.

Схематические картины одного и того же содержания, но поданные по-разному (как буквенные коды в примере с разбитым на клетки квадратом), по Витгенштейну, и есть различные игры. Он пишет: «Представим себе человека, который описывает шахматную игру, ничего не говоря о том, что существуют шахматные фигуры, ни о том, каким образом они ходят [...] С другой стороны, мы можем сказать, что он описал более простую игру»<sup>3</sup>. В данном положении постулируется возможность изменения объекта референции при введении иного описания правил игры. С шахматами трудно привести примеры, поэтому обратимся к шашкам. Те же шашки на той же самой доске могут быть использованы для игры по другим правилам. При этом изменение правил может быть либо частичным, либо практически полным. Отметим эти случаи.

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования. § 67 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>2</sup> Там же. § 49.

<sup>3</sup> Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999. С. 5.

1. *Случай частичного изменения правил игры.* Это происходит в игре под названием «поддавки». По всем правилам игры в шашки нужно не взять, а, наоборот, как можно скорее отдать все шашки. Частичное изменение правил игры тем самым вносится на ходу.

2. *Случай практически полного изменения правил игры.* Это происходит в игре под названием «Чапаев». Никаких правил шашек тут нет (так же можно было бы взять не клетчатую доску и примерно такие же кусочки дерева). Задача здесь: выбить щелчками по своим шашкам все шашки соперника за пределы доски. Для убедительности приведем другой пример. В середине XIX в. в Англии играли в мяч руками и ногами. Но затем появились любители играть только ногами. Образовав первую в мире ассоциацию футболистов, они запретили касаться мяча рукой, т. е. внесли такое изменение в правила, которое несовместимо с правилами прежней игры (которая получила наименование «регби»)<sup>1</sup>.

Любое слово, выражение и правило «входит» в целостную систему языковой игры, оказывая на нее преобразующее воздействие. Полагая, что человек «связан» языковой игрой, Витгенштейн выступает против логического атомизма, согласно которому *отдельное* слово или высказывание может быть рассмотрено на предмет соответствия факту и, в случае необходимости, заменено другим без учета контекста. «Опыт научил нас не изолированным предложениям, но множеству взаимосвязанных предложений»<sup>2</sup>, — утверждает Витгенштейн. В этой связи он выступает сторонником *холизма* в понимании структуры языка, приближаясь в определенных чертах к идеям теории логической связанности в ее реалистическом варианте, свойственном Уайтхеду. Как и Уайтхед, Витгенштейн считает язык и знание целостной системой; причем изменение одного положения или части системы должно повлечь за собой изменение всей системы в целом. Это и происходит при изменении правил и введении в язык новых слов. К.-О. Апель прав, полагая, что

---

<sup>1</sup> В США под словом «football» и сейчас понимается американская разновидность регби, т. е. игра, в которой можно касаться мяча и руками, и ногами. Для обозначения вида спорта, который в Англии именуется «football», американцы обычно используют слово «soccer».

<sup>2</sup> *Витгенштейн Л.* О достоверности. § 274 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

«вместе с обучением *одному* языку и вместе с успешной социализацией в *одной* связанной с употреблением языка “формой жизни” происходит обучение *единственной* языковой игре»<sup>1</sup>, т. е. языки связаны в единую систему по тому же принципу, что и слова внутри отдельного языка.

Постулируя наличие правил в любой языковой игре, Витгенштейн не утверждает того, что в ходе анализа языковой игры их можно точно выявить или определить. Он приводит пример с дорожным указателем. Это — пример правила, которое иногда оставляет место сомнению, а иногда нет. Например, указатель верно определяет направление (допустим, на Санкт-Петербург), но он не должен гарантировать, что это кратчайший путь из этой точки до Санкт-Петербурга и что всегда надо двигаться в этом направлении. В этой связи Витгенштейн выводит парадокс, который в современной аналитической философии получил наименование «скептицизма относительно правила» (rule-skepticism). Витгенштейн пишет: «Наш парадокс был таким: ни один образ действий не определяется каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни противоречия, ни соответствия»<sup>2</sup>. Витгенштейн дает два способа избежать этого парадокса. Во-первых, «следование правилу» — это практика, а не ментальное действие. Выезжая на шоссе и увидев указатель «С.-Петербург» со стрелкой направо, мы должны *поехать* направо, если, конечно, хотим приехать в Санкт-Петербург. Поэтому правило здесь устанавливает определенный порядок действий. Во-вторых, «следование правилу» — это социальный феномен, поэтому мы не можем его *произвольно* изменить. Допустим, злоумышленник повернет указатель в неверное направление. Но при этом он вряд ли ожидает, что мы доберемся до Санкт-Петербурга, следуя его совету.

Если правило *задано* определенным способом, мы всегда будем «повиноваться» ему или «нарушать» его; и это мы не в силах изменить. Витгенштейн вообще считает, что на прак-

---

<sup>1</sup> Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 253.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования. § 201 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

тике только специальные языки инструкций, катехизисов, логических и математических систем содержат в себе «описанные» правила. В большинстве языковых игр правила не столь прозрачны; их просто не требуется выводить. В этой связи Витгенштейн пишет: «Но ведь тогда нельзя описать, как мы убеждаемся в надежности того или иного вычисления? Почему же! Вот только никакое правило тут не обнаруживается. — Но самое важное вот что: правило и не нужно. Все при нас. Считаем же мы на самом деле по определенному правилу, и этого достаточно»<sup>1</sup>. Таким образом, Витгенштейн выступает против любого *логицизма* в отношении правил языковой игры, когда правила понимаются как тщательно отрефлексированные «условия возможности» этой языковой игры. Мы следуем правилам практически, разделяя со всеми носителями языка ответственность как за успехи, так и за неудачи.

Отрекшись от логического языка «Трактата», Витгенштейн отказывается от многих терминов своей прежней философии логического анализа, в том числе и от понятия «верификация», ключевого для этой философии. Но, несмотря на то, что Витгенштейн практически не употребляет это понятие в поздней философии, проблема выработки новых *верификационных критериев* по-прежнему актуальна. Все ключевые вопросы верификационной теории Витгенштейн решает в «поздней» философии, прилагая их к анализу обыденного языка. Он утверждает: «Может ли предложение в конечном счете оказаться ложным, зависит от того, что признать для него определяющим»<sup>2</sup>. На первый взгляд Витгенштейн расписывается в субъективно-идеалистической позиции, но это не так: разум определяет истинность суждений на основании того, что *дано* в опыте. Витгенштейн пишет: «Утверждение “Я знаю, что тут моя рука” может вызвать вопрос “Как ты это знаешь?”, и ответ на него предполагает, что *это* можно узнать *таким* образом. Так, вместо “Я знаю, что это рука”, можно было бы сказать: “Это моя рука”, а затем добавить, *как* это узнают»<sup>3</sup>. Витгенштейн не ставит под сомнение *существование* руки, о которой говорят. Но это — непосредственное сужде-

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 46 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>2</sup> Там же. § 5.

<sup>3</sup> Там же. § 40.

ние, само по себе не ведущее к определению того, почему мы так полагаем.

Путь, который пытается нащупать Витгенштейн, отличается от пути Рассела и Айера, которые сконцентрировали внимание на проблеме верификации высказываний о фактах. Он полагает, что поиск и определение способа эмпирического познания можно достичь, анализируя те ситуации обыденного языка, в которых мы можем сказать: «Мы все их знаем». Для Витгенштейна этот вопрос имеет огромное значение: ведь кто не может найти нечто *несомненное*, не может быть уверен в смысле своих слов. Следовательно, несомненное знание — это знание, которому человек доверяет, которому доверяют все люди, но не на основании только «соглашения», а на основании того, что «дела обстоят так». Например, все люди согласны, что отправленное письмо может дойти до адресата, и ожидают этого. Люди в этом уверены потому, что почта обеспечит доставку письма, а не потому, что «все люди» договорились так считать. Несмотря на то что дела обстоят так, как они есть (это Витгенштейн обосновал еще в «Трактате»), возможны различные *интерпретации*, описания этого положения. Витгенштейн тем не менее приходит к «мягкой» форме реализма: события в мире не зависят ни от человека, ни от абсолютного сознания, но достижение их однозначной интерпретации невозможно.

В этой связи следует отметить антагонизм Витгенштейна с логикой Рассела, сложившийся во многом под влиянием теории здравого смысла Мура и логических идей Ф. Рамсея. Витгенштейн ставит вопрос о критериях достаточности проверки эмпирического положения и фактически о пределах применения анализа. «Неужели проверка не имеет конца?»<sup>1</sup> — спрашивает он. И действительно, теоретики логического анализа постулируют невозможность «конца» верификации, рассматривая все положения как наиболее удачные гипотезы. Витгенштейн же полагает, что обоснование имеет конец. Проблема создания верификационной теории, позволяющей определить, соответствует ли суждение фактам или нет, интересует Витгенштейна в отношении определения отношения «соответствие». У Витгенштейна возникает сомнение в *достаточности* логических критериев соответствия. Когда утверждается: «Кошки не растут на деревьях», достаточно ли показать, что это выска-

---

<sup>1</sup> Там же. § 164.

зывание *просто* не соответствует наблюдаемым фактам? Для Витгенштейна этого недостаточно, поскольку не объясняется, почему человек уверен в этом (речь идет, разумеется, не о психологическом исследовании феноменов уверенности, убеждения, легковёрности и т. д.): «Я хочу сказать: дело обстоит не так, что человек знает истину об определенных вещах с полной уверенностью. Полная же уверенность характеризует лишь его точку зрения<sup>1</sup>.

Результат «уверенности» далеко не всегда совпадает с данными логического анализа. Допустим, мы просим: «Принесите мне швабру. Она там, в углу». Если детально проанализировать суждение, то получится следующее: в этой части пространства комнаты находится объект в виде щетки, в которую воткнута палка. Если мы спросим: «Принесите мне палку и щетку, в которую она воткнута», то можем получить в ответ: «Ты просишь швабру?» Этот пример показывает, что в повседневной ситуации данные анализа, несмотря на точность, *избыточны*. В этой ситуации было бы достаточным положиться на то, что собеседник, вероятно, знает, что такое швабра и как это слово употребляется в языке. Таким образом, в данной ситуации «более проанализированная» форма («палка, в которую воткнута щетка») оказывается менее совершенной, чем «менее проанализированная» форма («швабра»). Вывод Витгенштейна состоит в том, что во многих ситуациях вообще не надо анализировать *далее определенного предела*. Не существует бесконечной верификации и не существует закона, согласно которому «более проанализированная форма» более фундаментальна, чем менее проанализированная форма. Возникает иллюзия, что логический язык более совершенен, точен и фундаментален, чем обыденный. Для Витгенштейна это не так. Необходимо избавиться от маниакальной страсти логики делать очевидные факты более ясными, чем они есть на самом деле.

Витгенштейн отвергает также идею логического анализа, согласно которой существует единый критерий *точности* высказывания, устанавливаемый логикой. Например, мы говорим: «Мои часы ходят точно», «Я точно прихожу на лекцию». При этом подобная точность вряд ли удовлетворит физика, конструирующего атомные часы. Тем самым слово «точность» определяется по-разному в различных языковых играх. Поэто-

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 404.

му «точность» в логике — это понятие, имеющее значение только в языке логики, а не как некий эталон. Витгенштейн полагает, что для повседневных нужд «невыносимо» требование логического аналитика бесконечно уточнять наши высказывания. Однако «психологические» оценки Витгенштейна нас здесь не интересуют. Интересно то, что, по Витгенштейну, логический идеал точности не распространяется на *все* языковые игры. Однако мнение Витгенштейна, что в каких-то не-логических формах языка присутствует «точность», на наш взгляд, ложно. Мы полагаем, что в обыденном языке все выражения, содержащие слово «точный», неперебиваемые посредством анализа синонимичные слова типа «аккуратный», «ровный» (счет), «пунктуальный» и т. д., представляют собой плод экспансии языка математики и логики. Например, когда мы говорим: «Восемь поделить на четыре будет ровно два» или «За этот вечер сгорело точь-в-точь две свечки», то здесь имеется в виду количественная точность, редуцируемая к математическим понятиям. Точно так же, когда мы говорим: «Высказывание “Я живу в Санкт-Петербурге” точнее, чем высказывание “Я живу в России”» речь идет о большей географической точности первого высказывания, даже если говорящий это не осознает.

Тем самым учение Витгенштейна о наличии каких-то альтернативных критериев «точности», кроме логических и математических, вполне может вызвать критику. Например, крайне сомнительно утверждение Витгенштейна: «Когда мы создаем “идеальные языки”, то это делается не для того, чтобы заменить наш собственный язык этим искусственным языком, но лишь для того, чтобы устранить некоторые затруднения, возникающие в сознании тех, кто полагает, что он достиг точного употребления обычного слова»<sup>1</sup>. Логические аналитики, в отличие от Витгенштейна, считали, что во многих случаях употребления специальных языков следует *заменить* обыденный язык, а не только устранять его «затруднения». На наш взгляд, они правы, так как огромное множество слов обыденного языка («клетка», «мост», «река» и др.) *совершенно* меняют свое значение в языке соответствующей науки; и это никак не похоже на «уточнение», за которое ратует Витгенштейн. Отказавшись от логических критериев точности, уточнения и анализа, Витгенштейн впадает в лингвистический релятивизм, отдавая эти понятия «на

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999. С. 51.

откуп» отдельным частным языкам и нашим потребностям, для реализации которых мы можем выбрать не только язык логики, но и языки грузчиков, крестьян или туристов.

Витгенштейн считает, что логические аналитики ошибаются, стремясь как можно точнее определить *значение* слова. На самом деле это не только понятие, релятивное по отношению к каждой языковой игре. Существуют случаи, когда *значение отсутствует совсем*, если понимать под значением «соотнесение с предметом». Приводя примеры таких языковых случаев, Витгенштейн пишет: «Воды! Прочь! Ой! На помощь! Прекрасно! Нет! Неужели ты все еще склонен называть эти слова “наименованиями” предметов?»<sup>1</sup> Витгенштейна тут вдохновляет сказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», где существуют слова, лишённые всякого значения в повседневном английском языке, типа «Шалтай-болтай» или «ювеливаллер». Несомненно, Витгенштейн совершает здесь выдающееся открытие в области анализа языка, убедительно доказав, что «прямое соответствие» и «объективные слова» не являются единственной основой обыденного языка, что слово «Воды!» не обязательно обозначает в этой ситуации воду как химическое соединение. Раненому, например, можно дать минеральной воды, сока или компота, если у него нестерпимая жажда (когда нет обыкновенной воды под рукой), и он просит: «Воды!» Но вместе с тем можно спорить с Витгенштейном относительно его убеждения в *полном* отсутствии связи между смыслом фразы «Воды!» и реальной водой. Скорее всего, тут присутствует метафора, косвенно указывающая если не на воду, то, по крайней мере, на годную для питья жидкость. Это отметил Рассел, возражая Витгенштейну: «Вы можете воскликнуть “Огонь!”, но было бы бессмысленно воскликнуть “Чем!”»<sup>2</sup> Таким образом, нанеся сильный удар по критериям достоверности верификационной теории, Витгенштейн предоставил взамен крайне «размытые» критерии, навечно дав повод трактовать их в духе лингвистического релятивизма.

Характерно, что Витгенштейн, стремясь только «описывать» языковые игры, постоянно стремится найти критерии достоверности в области реальности, а не в области языка: «Долж-

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования. § 27 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>2</sup> Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. С. 24.

но быть *доказано*, что исключена ошибка. Ибо это всего лишь уверение в том, что я здесь не могу ошибаться, факт же, что я не ошибаюсь в *этом*, должен устанавливаться *объективно*<sup>1</sup>. Для Витгенштейна недостаточно сказать: «Я не ошибаюсь», необходимо доказать это. В критической литературе о Витгенштейне распространено мнение, что Витгенштейн отвергал связи между языком и действительностью, что критерии «уверенности» лежат «внутри» языковой игры. Между тем это относится скорее, к последователям философа. Сам Витгенштейн опроверг бы это мнение. Например, он пишет: «Убедившись в отсутствии ошибок, человек говорит: да, расчет правилен — но извлек это заключение не из своего состояния уверенности. О положении дел умозаключают не из своей собственной уверенности. Уверенность — это *как бы* тон, в котором повествуют, как обстоят дела, но из тона нельзя сделать вывод, что сообщение оправданно»<sup>2</sup>. Сказать нечто для Витгенштейна можно правильно или неправильно. Критерии правильности и неправильности могут подкрепляться «уверенностью» (например, можно что-то «авторитетно заявить»), но уверенность не влияет на то, как «обстоят дела».

Характерную черту языковой игры составляет то, что мы в нее «верим», т. е. верим «целой системе предложений». Витгенштейн полагает, что для этой веры, в отличие от знания, *нет* никакого обоснования, что это «необоснованная» вера. Мы верим нашей языковой игре по двум причинам: «дела обстоят так» и «все люди так говорят». «Вера», по Витгенштейну, лежит в основе целостности языка и мира, в которой убежден каждый человек. С этой точки зрения, к примеру, разум способен сомневаться в каждом отдельном факте, но не во *всех фактах, вместе взятых*. Тезис Витгенштейна о наличии «веры», несомненно, противоречит собственному же положению философа о наличии объективных критериев уверенности. Рорти верно отмечает черту философии Витгенштейна, когда пишет: «Представлять язык как картину мира — как множество репрезентаций, которые нужны философии, чтобы изобразить их в некотором неинтенциональном отношении к тому, что они репрезентируют, — бесполезно для объяснения того, как понимается и осва-

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 15 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>2</sup> Там же. § 30.

ивается язык»<sup>1</sup>. В свете оценки Рорти, языковая картина мира оказывается исключительно вербальным дискурсом. Конечно, Витгенштейн не придерживался столь радикального взгляда, но он, несомненно, сделал уступки идеализму и дал повод для подобных интерпретаций. Отказавшись от идей теории соответствия, определяющих логический анализ, Витгенштейн так и не пришел к выработке *альтернативного* обоснования связи языка и мира. «Соответствие положению дел» и «необоснованная вера» в равной мере определяют эпистемологию позднего Витгенштейна, делая ее дуалистической. Витгенштейн, на наш взгляд, осознавал этот дуализм. В нем он видит причины ненависти между людьми, одиночества человека, «ибо если человек чувствует себя потерянным, то это и есть настоящая беда»<sup>2</sup>. Он не видит ничего, кроме пропасти между языками наций, классов, партий, школ. Как свидетельствует его близкий друг Г. фон Вригт, Витгенштейн видел будущее познания мрачным, всерьез полагая, что человек никогда не сможет выразить себя и понять других.

Тем не менее Витгенштейн не всегда был таким пессимистом. Как уже отмечалось выше, человек способен понимать другую языковую игру через обучение ее правилам и значениям слов. Витгенштейн утверждает: «Так что, если другому человеку известна эта языковая игра, то он признает, что я это знаю. Если этот другой владеет данной игрой, то он должен быть в состоянии представить себе, *как человек может знать нечто подобное*»<sup>3</sup>. Анализируя предложения обыденного языка, Витгенштейн критикует Мура за попытку свести понимание овладения языком к анализу чувственных данных. Это неверно, так как существует, к примеру, язык шпионов или шифровальщиков, который умышленно искажает все чувственно воспринимаемые корреляты, но которому тем не менее можно научиться. Для обучения языковой игре, по Витгенштейну, достаточно знать только то, как ею пользоваться. Языковые игры тем самым трактуются как «инструменты», а не как «шаблоны», снятые с реальности.

---

<sup>1</sup> Рорти Р. Философия и Зеркало Природы. Новосибирск, 1997. С. 218.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. Культура и ценность. § 261 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

<sup>3</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 18 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Для доказательства того, что правила языка не всегда *указывают* на реальность, Витгенштейн приводит один пример, особенно интересный для носителей русского языка. Он отмечает в «Философских исследованиях», что в русском языке (который Витгенштейн довольно хорошо знал) вместо: «Камень есть красный» (как в английском языке) говорят: «Камень красный». Это, кстати, создает трудности для преподавателей грамматики и логики. Витгенштейн отмечает факт *иного* правила связывания субъекта и предиката в высказываниях на русском языке, чем, например, в немецком языке. Для Витгенштейна «подразумевание» глагола-связки «есть», выражающееся в русском языке обычным пробелом или знаком «—», не является тем же самым, что английское слово «is» или немецкое слово «ist». Тем самым, по Витгенштейну, русские не указывают на реальность в каждом отдельном высказывании, а только *подразумевают* это, что не одно и то же. Подобные идеи Витгенштейна активно развивали Райл, Остин, Куайн и другие теоретики обыденного языка.

Любое подтверждение или опровержение происходит «внутри» некоторой языковой системы. Спрашивая «Правда, что Земля круглая?», мы неизбежно относим этот вопрос к определенной языковой игре, в данном случае к языку астрономии. На основании этого Витгенштейн выводит положение, которое активно использует при анализе истинности высказываний обыденного языка: *все, что мы спрашиваем, относится к уже существующему контексту той или иной языковой игры*. По Витгенштейну, мы не можем *просто* спросить (или даже подумать) — любой вопрос должен быть задан на языке той или иной игры. Поэтому нельзя правильно спросить о форме Земли, сказав: «Правда, что ель растет в лесу?» или «?!\*N<sup>o</sup>Арт?!,?» (любая абракадабра). В какой-то степени прав Э. Геллнер, критикуя Витгенштейна за отказ от универсальной теории познания, на языке которой мы задаем *все* осмысленные вопросы. Геллнер пишет: «Лингвистическая философия не имеет теории познания; она довольствуется лишь теорией, объясняющей, почему теория познания является излишней и невозможной»<sup>1</sup>. Он полагает что, если мы воплотим в жизнь принцип Витгенштейна «спрашивать только на языке определенной игры», то теория познания сведет-

---

<sup>1</sup> Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962. С. 158.

ся к «темным афоризмам», толкующим, наподобие волхвов, различные языки.

Поскольку не существует единых критериев истинности для всех языков, то Витгенштейн предлагает отказаться от категории «истина», заменив ее категорией «*достоверность*». Достоверность — это не только то, в чем человек уверен (человек может быть уверен, что существуют кентавры), а скорее то, в чем человек *не может быть не уверен*, когда ошибка может быть совершенно исключена. Витгенштейн решительно выступает против утверждения единой методологии верификации, нивелирующей индивидуальные особенности отдельных языковых игр. Для Витгенштейна это — преступление против языка, омертвление речи как способности не только обозначать и высказывать фактические суждения, но и как способности *понимать* друг друга, быть уверенным вместе с другими. Как и Хайдеггер, Витгенштейн отстаивает достоинство обыденного языка перед натиском языка логики, полагая, что рационально созданный идеальный язык приведет к искусственному миру и в конце концов к потере смысла. Еще в 1914 г. Витгенштейн считал, что язык логики «глух» к подлинному смыслу мира, что «высказывать» не означает «говорить». Он записывает: «Так называемые логические предложения *показывают* логические свойства языка и, следовательно, универсума, но не *говорят* ничего»<sup>1</sup>.

Лидер американского прагматизма У. Джеймс считал, что термин употребляется в том виде, как он введен в теорию. При этом единственным критерием введения термина выступает его полезность, практическое удобство. Поскольку возможны различные понятия для обозначения одного объекта (например, «Большая медведица» и «Ковш» для обозначения одного созвездия), то нельзя положительно решить вопрос об истинности одного из обозначений. Какое из них рассматривать как *более истинное*, вполне зависит от употребления. Налицо очевидные параллели между пониманием истины в прагматизме и лингвистической философии. Однако Витгенштейн не считает «практическое удобство» исключительным *критерием* истины. Говоря: «Слова — это разные инструменты в нашем языке»<sup>2</sup>, Витгенштейн не имеет в виду, что это инструменты, избранные

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. Томск, 1998. С. 133.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999. С. 117.

сознанием как наилучшие с практической точки зрения. Скорее Витгенштейн хочет сказать: у нас уже есть инструменты, необходимо *научиться ими правильно пользоваться*.

Если человек говорит «Это нога», высказывание может восприниматься не более как возглас. Витгенштейн пытается доказать, что на самом деле — это выражение несомненной уверенности, на основании которой действует человек. Допустим, люди измеряют поле шагами. При этом, по Витгенштейну, им бесполезно доказывать преимущества рулетки, поскольку они убеждены в том, что их метод наилучший. Диоген однажды стал указывать на предметы средним пальцем, и его все стали называть глупцом. Люди настолько привыкли указывать на предметы определенным пальцем, что использование другого пальца для подобной цели порождает у окружающих сомнение в психическом здоровье человека, поступающего так. Почему, по Витгенштейну, возможны подобные ситуации? Н. Мальколм записал на одной его лекции: «В их жизни [жизни людей. — С. Н.] не существует представления о более точном измерении, и поэтому отсутствует представление о том, что такое *настоящая длина*. Если мы скажем: “Они должны иметь понятие о настоящей длине”, то только потому, что имеют в виду более сложно организованную систему жизни, где одному способу измерения оказывается предпочтение по сравнению с другими. Но это все не имеет никакого отношения к жизни этого племени»<sup>1</sup>. Так, люди измеряют длину в километрах, милях, верстах и т. п. — при этом невозможно выбрать *лучшую* систему. Мир выбрал километры, потому что это удобно. Когда англичане упорно меряют все в ярдах и милях, это вовсе не означает того, что они *не правы*.

Британский моралист С. Батлер сказал: все есть то, что есть, и ничто иное. Он хотел показать, что возможен только мир, созданный Богом. В принципе Витгенштейн вполне согласен с Батлером. Он пишет: «Но ведь тогда нельзя описать, как мы убеждаемся в надежности того или иного вычисления? Почему же! Вот только никакое правило тут не обнаруживается. — Но самое главное вот что: правило и не нужно. Все при нас»<sup>2</sup>. Что же — «при нас»? При нас, прежде всего, непоколебимая

---

<sup>1</sup> Мальколм Н. Людвиг Витгенштейн: воспоминания. М., 1986. С. 52.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 46 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

уверенность в основных правилах нашего языка. Витгенштейн считает, что здесь мы ничего и не могли бы изменить. Человек подчиняется *власти* языка над ним, язык *диктует* человеку критерии достоверности, *заставляет* его чувствовать себя убежденным. По Витгенштейну, человек «околдован» словом и способен «непроизвольно» верить ему; для этого необходимо быть «вовлеченным» в языковую игру.

«Непоколебимая уверенность» возникает не без причины. Витгенштейн стремится доказать, что в ходе анализа обыденного языка обнаруживаются ситуации, в которых *невозможно сомнение*, ситуации, в которых невозможно представить, почему кто-то должен полагать иное. В качестве бессмысленного вопроса Витгенштейн приводит следующий: «Почему для меня невозможно усомниться в том, что я никогда не был на Луне?» Он дает на него следующий ответ: «Прежде всего, предположение о том, что я, возможно, там побывал, мне кажется *праздным*. Из него ничего не следовало бы, ничего не было бы им объяснимо»<sup>1</sup>. «Праздные» вопросы, хотя и возможны логически, практически бессмысленны; они не могут быть включены в языковую игру, например, для обозначения мест, где обычно бывают люди. Но вполне возможно, что группа любителей историй о бароне Мюнхгаузене может видеть смысл в высказывании «Я был на Луне» и считать, что там живут люди. Для Витгенштейна, эти люди, если они будут упорствовать в своих фантазиях, должны стать пациентами психиатрической лечебницы. Большинство людей непоколебимо верят, что они не были на Луне, действительно считая рассуждения на эту тему интересными для фантастики, анекдотов и других вымышленных, а не реальных историй. Витгенштейн полагает, что язык этих людей должен быть подвергнут *терапии*, чтобы «вылечить» их болезнь и научить называть вещи правильными именами. Витгенштейн иногда нарочито демонстрирует нежелание анализировать «праздные» вопросы философов. Он утверждает: «Мы удовлетворены тем, что Земля круглая»<sup>2</sup>.

Раз существуют «праздные» вопросы, то существуют и *несомненные* положения. Как и Декарт, Витгенштейн приветствует сомнение, но только до тех пор, пока не будет обнаружено несомненное. Даже когда человек ошибается, можно выделить слу-

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 117.

<sup>2</sup> Там же. § 299.

чай, когда он ошибается вместе со *всеми* носителями этой языковой игры. Утверждая, что разумный человек не испытывает определенных сомнений, Витгенштейн доказывает интерсубъективный, а не произвольный характер принятия утверждения в языковой игре. «Жизнь» языка, в отличие от бесконечно сомневающейся науки, освобождает человека от скептицизма.

На наш взгляд, Витгенштейн вывел оригинальный вопрос: обо всем ли можно спрашивать? Например, человек может открыть ящик стола и увидеть там ручку, затем, подождя немного, засомневаться, есть ли там ручка. И опять выдвигать ящик и т. д. Витгенштейн считает, что этот человек не *научился* правильному сомнению; сомнение для него — произвольный акт. Но все же дать основания несомненного знания Витгенштейн не может, поскольку как аналитический философ хочет найти основание более глубокое, чем всеобщее мнение. Витгенштейн даже не может доказать, почему он не сомневается в том, что его зовут Людвиг Витгенштейн. У него это имя записано в паспорте, под этим именем издан «Логико-философский трактат», к нему так обращаются люди, но все это — косвенные свидетельства. Возникает парадокс:

1) Людвиг Витгенштейн говорит о Джоне, Ричарде и Сэме на основании того, как *он и окружающие* употребляют эти имена, связывая их с определенными людьми;

2) Джон, Ричард и Сэм говорят о Людвиге Витгенштейне на основании того, как *они и окружающие* употребляют это имя;

3) Людвиг Витгенштейн говорит о себе на основании того, как *окружающие* его зовут и как они употребляют это имя.

Исходя из сказанного, мы говорим о другом человеке на основании собственного именованя, а о себе говорить так не можем. И хотя масса людей говорит о Витгенштейне: «Это Людвиг Витгенштейн», *сам* Витгенштейн не может убедиться, что это правильно. Слово поэтому не может именовать себя в языке, обязательно являясь определенным через другие слова. Результат парадокса составляет, таким образом, систематическая недостаточность определенности любого имени в языке.

Эти логические проблемы не так сильно задевают обычного человека, поскольку любая языковая игра обладает способностью «самоубеждения». Витгенштейн пишет: «Скажи, например, кто-нибудь: “Я не знаю, рука ли это”, — ему можно было бы ответить: “Присмотрись получше”. Такая возмож-

ность самоубеждения принадлежит языковой игре. Это одна из ее существенных черт»<sup>1</sup>. «Убедиться» для Витгенштейна — лучшее доказательство в этой ситуации. Разум способен сомневаться, существует ли рука. Но, как уже отмечалось, такое сомнение осуществляется «не по правилам», оно не связано с практикой. Поэтому такого скептика, не научившегося правильно сомневаться, Витгенштейн предлагает не слушать, а просто «осадить».

Одной из главных черт методологии анализа обыденного языка выступает отказ от разделения на *внешние объекты* и *внутренние «картины»*, или образы объектов. Когда мы смотрим на небо и говорим: «Оно синее», мы не именуем ощущение, возникшее «внутри меня», а говорим о небе так, как если бы это сказал другой человек. Витгенштейн считает, что мы должны отбросить «анализ ощущений» как «устаревший» эпистемологический вопрос и заняться анализом языка, который используется для наименования чувственных образов. Дело не в том, адекватны ли наши ощущения или нет, а в том, как мы можем *выразить их содержание в языке*. Анализ высказываний об ощущениях, по Витгенштейну, возможен только в лингвистических, а не в психологических или физических терминах: «Мы легко создаем себе ложную картину процессов, называемых “узнаванием”; согласно этой картине узнавание якобы всегда заключается в сравнении между собой двух впечатлений. То есть я словно ношу при себе изображение предмета и с его помощью узнаю в некоем предмете такой, какой изображен на этой картине»<sup>2</sup>. На самом деле у нас нет никаких долингвистических образов или чувственных данных. Мы говорим, называем вещи и только *затем* что-то узнаем о них.

В ходе анализа обыденного языка, считает Витгенштейн, можно пренебречь различием между прямым и косвенным описанием факта, которое очень важно в логическом анализе. Например, суждение «Это рука» в философии логического анализа представляет прямую констатацию факта. Тогда как в суждении «У него болит рука» рука описывается косвенно, поскольку прямо утверждается о боли в руке. Витгенштейн нивелирует это различие, считая бессмысленным различие пря-

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 3.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования § 604 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

мого и косвенного смысла. Во всех фразах о руке упоминается рука, и она описывается так, как принято употреблять это слово в этой языковой игре. Поэтому констатации фактов типа «Это рука» тоже зависят от употребления слова «рука» в языке и не обладают поэтому особым статусом. Очевидно, что Витгенштейн здесь не спорит с логическими аналитиками, он просто игнорирует их теории. Отмечая ошибочность верификационной теории, Витгенштейн считает недопустимым отождествление знака с объектом, сосуществующим со знаком. Достаточно знать только употребление знака; выяснение соответствия его с каким-то предметом не требуется. Например, во фразе: «Его лицо имеет печальное выражение», по Витгенштейну, речь идет о метафорическом смысле глагола «иметь», поскольку «выражение» не есть нечто внешнее по отношению к лицу. Тем самым Витгенштейн предлагает полностью отказаться от анализа чувственных данных и фактов и заняться анализом словоупотребления, хотя делает это непоследовательно. Логика и эпистемология, по Витгенштейну, должны описывать язык, а не психику и внешний мир: «К логике относится все то, что описывает ту или иную языковую игру»<sup>1</sup>.

Как уже отмечалось выше, отношения Мура и Витгенштейна, а также их оценки в критике сложные и неоднозначные. Выступая приверженцем последовательного реализма, Мур считает возможным совпадение чувственных данных и физических объектов. Мур основывает свое утверждение на повседневном опыте каждого человека. Витгенштейн в этой связи отмечает, что, если, например, у Мура болела бы рука и он сказал бы: «У меня болит рука», мы бы поняли его и попытались бы ему помочь. Но если бы он сказал: «Я чувствую, что это дерево», мы не поняли бы этот абсурд. Непоколебимость уверенности Мура заключается в том, что его не интересует исследование *личного* опыта, который он считает праздным. Витгенштейна волнует то обстоятельство, что в ситуациях самоочевидных положений не только Мур, но и любой человек не может сомневаться. Если бы Мур сказал: «Я знаю, что это рука, но могу ошибаться», то, полагает Витгенштейн, Мур не смог бы выявить суть своей ошибки. Витгенштейн замечает: «Потому можно признать, что Мур был прав, если истолковывать его в таком духе: предложение,

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 56 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

сообщающее, что здесь есть физический объект, может иметь такой же логический статус, какой имеет предложение, сообщающее, что здесь есть красное пятно»<sup>1</sup>. Витгенштейн верно судит, что Мур не пытался отказаться от признания качественной разницы между чувственным данным и физическим объектом, которую признавали большинство философов. Поэтому значение Мура в философии Витгенштейн видит в выведении и доказательстве существования случаев, в которых ни один здравомыслящий человек не может сомневаться.

Витгенштейн критикует Мура за неспособность показать, *каким образом* он приходит к уверенности в истинности суждений здравого смысла. В частности, Мур не объясняет, почему высказывания здравого смысла не могут быть ошибочными. В этой связи Витгенштейн пишет: «При определенных обстоятельствах человек не может ошибаться [...] Выскажи Мур предположения, противоположные тем, которые он объявил несомненными, мы не только не разделили бы его мнения, но и приняли бы его за душевнобольного»<sup>2</sup>. Мур высказывает не просто самоочевидные положения; он высказывает прежде всего достоверные положения, т. е. те, в которых *никто* не может сомневаться. Когда Мур говорит: «Я знаю это», нас интересует не то, что Мур знает, а то, почему собеседники Мура верят в это. Отдавая должное критике Витгенштейна, отметим, что он вольно трактует Мура в очень важном вопросе. Витгенштейн ошибочно приписывает Муру положение о *тождестве* понятий «знать» и «быть уверенным», которого придерживается сам. Еще в «Опровержении идеализма» в 1903 г. Мур, критикуя солипсизм Беркли, четко разграничил эти два понятия и с тех пор нигде их не отождествлял. В этой связи критику Витгенштейна можно считать изложением своей собственной позиции, а не строгим анализом подлинных взглядов Мура. Как Сократ у позднего Платона, Мур превращается для Витгенштейна в литературный персонаж, а не только в философа. По Муру, мы действительно *знаем* о многих людях и материальных объектах, что и подтверждается здравым смыслом. По Витгенштейну, мы ничего *не знаем* за пределами языковых конвенций, даже если убеждены, что знаем это. «Даже если найдостойнейший доверия уверяет меня, будто он *знает*, что дело обстоит так-то,

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 53.

<sup>2</sup> Там же. § 155.

то тем самым он еще не может убедить меня в том, что действительно знает это. Разве только в том, что он уверен, что знает. Поэтому нас не интересует уверенность Мура, что он знает»<sup>1</sup>, — пишет Витгенштейн.

Что же тогда должно нас интересовать? По Витгенштейну, нас прежде всего интересует структура обыденного языка, где все положения здравого смысла тесно связаны в единую «систему координат». Язык закрепляет не отдельные положения опыта; он учит нас доверять опыту в целом. Фразой «Я знаю...» мы вообще не описываем факты. Мы выражаем уверенность в том, что мы усвоили, овладевая правилами и конвенциями языка. Критерии нашей уверенности, таким образом, релятивны по отношению к той или иной языковой игре. Сказать «Мур неверно описывает кошек» равносильно высказыванию «Мур неверно употребляет слова “кошка”, “мяукать”, “царапаться” и т. д.».

Витгенштейн считает путь Мура и Рассела утопическим: они, уже *обладая* знанием, ищут для него «оснований». В результате они не могут прийти к чему-либо иному, нежели к расщудочным положениям логики. «Последняя» достоверность, по Витгенштейну, ускользает от них, поскольку они *не там* ее ищут. Корень дружбы-вражды Мура и Витгенштейна, закончившейся их глубоким идейным расхождением, заключается, на наш взгляд, в принятии Витгенштейном *идеалистического* положения о тождестве знания и уверенности. «Что, если в предложении Мура “Я знаю” *заменить* (курсив мой. — С. Н.) на “Я непоколебимо убежден”?»<sup>2</sup> — предполагает Витгенштейн. Естественно, Мур не мог согласиться с подобным отождествлением. Не соглашается Мур и с положением Витгенштейна о том, что предложения можно считать истинными, если никто из носителей языка не может доказать их ложность. Мур не придерживался того, что американский логик С. Крипке назвал «избыточной теорией истины», согласно которой необходимо не только верифицировать утверждение, но и доказать, что его отрицание ошибочно.

Как уже отмечалось, Витгенштейн считает, что здравый смысл Мура, на самом деле, релятивен по отношению к языковой игре. Это означает того, что если я и все носители моего языка в чем-то не сомневаются, то это не распространяется на

---

<sup>1</sup> Там же. § 137.

<sup>2</sup> Там же. § 86.

носителей другого языка, скажем, на японцев. Хайдеггер выводит в статье «Разговор на проселочной дороге между японцем и спрашивающим» диалог по поводу «ики». Это понятие, по Хайдеггеру, совершенно отсутствует не только в немецком языке, но и во всей западной мысли. Витгенштейн вполне бы согласился с Хайдеггером. Он выводит три случая, в которых здравый смысл Мура, а вместе с ним и вся философия логического анализа попадают в неразрешимые затруднения.

1. *Мур и дикари*. «Я мог бы представить себе такой случай: Мур захвачен племенем дикарей, и они высказывают подозрение, что он прибыл из какого-то места, расположенного между Землей и Луной. Мур говорит им, что он знает нечто, но оснований для своей уверенности привести не может, поскольку у них фантастические представления о способности людей летать и они ничего не смыслят в физике»<sup>1</sup>, — пишет Витгенштейн. Он считает, что у дикарей существует свое употребление таких слов, как «белый человек» и «летать», несовместимые с употреблением в английском языке. Дикари могут даже съесть Мура, и все из-за лингвистической несовместимости. Так, по Витгенштейну, огромное большинство людей скорее поверит в чертей, сглазы и астрологические прогнозы, чем во многие мнения ученых.

2. *Мур и король*. Этот случай имеет психологическую направленность. Допустим, существует король, который так уверен в своем могуществе, что считает себя способным одним повелением вызвать дождь. Мур, конечно, так не считает, смотря на дождь как на объективное климатическое явление. Так что и в этой ситуации Мур рискует быть казненным за инакомыслие, за то, что осмелился перечить живому богу. Мур, конечно, может переубедить короля, но это не затронет его веры в целом. Так, Платон убедил Дионисия учредить идеальное государство, но от этого Дионисий не перестал быть тираном.

3. *Мур и католик*. Мур присутствует в католическом соборе при совершении таинства причастия. Правоверный католик убежден, что во время таинства вино уже не вино, а кровь Христова. Мур же, как человек светский, может признать: «Да, это вино, которое во время таинства символизирует кровь, но останется вином». И здесь Мур со своим здравым смыслом не угодил бы католикам. В Средние века он вполне мог бы быть сожжен

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. О достоверности. § 264.

на костре за еретическое учение. Итак, при столкновении теологического языка католика и научного языка Мура не остается победителей; каждый будет считать друг друга глупцом и еретиком.

Опровергая Мура, Витгенштейн доказывает, что только в контексте определенного языка можно определить критерии достоверности и ошибки. В этом нам может помочь *анализ обыденного языка* — метод, впервые предложенный Витгенштейном. Парадоксально, но автор этого метода, терзаемый постоянным столкновением двух своих философий, оставил этот метод только в виде наметок. Последователи Витгенштейна — лингвистические философы — занялись детальной разработкой именно *техники* анализа обыденного языка, в большинстве своем просто отвергнув свое «логическое» прошлое. Для них все проблемы анализа связаны практически исключительно с обыденным языком и способами употребления слов и предложений. При этом они открыли много новых направлений и положений, которые значительно разнятся с идеями учителя. И хотя эти философы называли себя «витгенштейнианцами», никто из них, собственно, не пошел по пути Витгенштейна. Смотря на лингвистическую философию с определенной временной дистанции, мы не будем выяснять, почему все крупные лингвистические философы столь мало следуют Витгенштейну и используют его категориальный аппарат. Может быть, это и к лучшему, поскольку Витгенштейна проще всего представить генератором новых идей и харизматическим лидером и труднее всего — создателем «большой» системы и руководителем философской школы.